

Татьяна Андреевна Кузминская

Моя жизнь дома и в Ясной Поляне



Татьяна Кузминская

Моя жизнь дома и в Ясной Поляне

«Public Domain»

1924

Кузминская Т. А.

Моя жизнь дома и в Ясной Поляне / Т. А. Кузминская — «Public Domain», 1924

«Отец мой был лютеранин. Дед его был выходец из Германии. В царствование Елизаветы Петровны формировались полки, и для обучения новому строю потребовались инструкторы. По желанию императрицы австрийский император командировал в Петербург четырех офицеров кирасирского полка, в числе которых был ротмистр Иван Берс. Он прослужил в России несколько лет, женился на русской и был убит в битве при Цорендорфе. Про жену его в семье нашей мало говорили, и мне ничего не известно о ней. После смерти Ивана Берса остался его единственный сын, Евстафий, наследовавший от своей матери порядочное состояние...»

Содержание

Часть I	5
I. Предки со стороны отца	5
II. Прадед мой по матери гр. П. В. Завадовский	8
III. Дед и бабка по матери	13
IV. Жизнь матери до замужества	16
V. Замужество матери	19
VI. Родители	21
VII. Наше детство	25
VIII. Подарок крёстной	26
IX. Разлука с братом	29
X. Николай Николаевич Толстой и приезд Льва Николаевича	31
XI. Наша юность	33
XI. Наши юные увлечения	36
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Татьяна Кузминская

Моя жизнь дома и в Ясной Поляне

Часть I 1846–1862

*И где вы, мирные картины,
Прелестной сельской простоты?
Среди воинственной долины
Ношусь на крыльях я мечты.*

Пушкин

I. Предки со стороны отца

Отец мой был лютеранин. Дед его был выходец из Германии. В царствование Елизаветы Петровны формировались полки, и для обучения новому строю потребовались инструкторы. По желанию императрицы австрийский император командировал в Петербург четырех офицеров кирасирского полка, в числе которых был ротмистр Иван Берс. Он прослужил в России несколько лет, женился на русской и был убит в битве при Цорендорфе. Про жену его в семье нашей мало говорили, и мне ничего не известно о ней.

После смерти Ивана Берса остался его единственный сын, Евстафий, наследовавший от своей матери порядочное состояние.

Евстафий Иванович, отец моего отца, жил в Москве и женился на Елизавете Ивановне Вульфферт, которая была младшей дочерью в многочисленной семье. Она была родом из древних вестфальских дворян, генеалогическое дерево которых лежит предо мною, когда я пишу эти строки. Я знавала двух бабушкиных сестер: Екатерину, вышедшую замуж за помещика Войта, и Марию, оставшуюся в девушках. Затем помню одного Вульфферта, который был несколько трехлетий Лубенским уездным предводителем дворянства Полтавской губернии. Другой родственник бабушки, полковник гвардии, был личным адъютантом великого князя Михаила Николаевича.

В 1808 году у Евстафия Ивановича было два сына: старший Александр и младший Андрей (впоследствии мой отец). Как многие зажиточные семьи того времени, семья моего деда беспечно жила в Москве, несмотря на угрожавшие ей бедствия, начавшиеся с 1805 года. Многие не замечали и не хотели замечать тучи, медленно надвигавшейся на Россию.

В 1812 году прошел слух, что французы приближаются к Москве. Как известно, жители Москвы, не выехавшие раньше из города, в паническом страхе оставляли свои дома и имущество и с большими затруднениями, не находя лошадей и обозов, покидали Москву. Так было и с семьей моего деда. Увлеченная общей паникой, бабушка Елизавета Ивановна решила оставить Москву и в карете на долгих выехала в Владимирскую губернию, в имение князя Шаховского. Какое имела она отношение к Шаховским – не знаю.

Евстафий Иванович остался один с своим старым слугою, надеясь спасти хотя бы часть своего имущества. Но и ему вскоре пришлось обратиться в бегство. Французы уже входили в Москву, и во всех углах города вспыхивали пожары. Оба его дома на Покровке сгорели на его глазах. Оставаться далее было невозможно, и он решил бежать.

Ночью, переодетый в простое платье, с двумя пистолетами известной старинной фабрики Lazaro-Sazarini, единственно уцелевшими из всего его имущества, он вышел из дому. Старый его слуга остался в городе.

На улицах было темно и пусто. В воздухе стоял смрад и пахло гарью. Евстафий Иванович благополучно выбрался из города и скорым шагом шел по Владимирскому тракту. По дороге попадались подводы с ранеными; в деревнях, где он останавливался, передавали ему рассказы о французах, о бегстве помещиков, о том, как они зарывали золото, серебро и прочие драгоценности. Крестьяне жаловались на опустошение полей, на разорение и обиды.

Вдали виднелось красное зарево, разлитое по всему небу, и смрад в воздухе красноречиво говорил ему, что вся Москва была охвачена полымем.

Не чувствуя усталости, он шел во Владимирскую губернию, куда уехала его семья. Мысль, что он остался нищим, угнетала его; тревога о том, доехала ли его семья благополучно, не давала ему покоя. Так шел он несколько дней. Много пережил он за это время, как говорил мне мой отец.

Не суждено было ему благополучно окончить свое путешествие. По дороге он встретил кордон французских солдат и был ими арестован. Расспросив, кто он, и узнав от него, что он знает французский и немецкий языки, они повели его за собой, как переводчика, отняв последнее его имущество – два пистолета.

Сколько времени он находился в плену – мне неизвестно; бежал ли он из плена, или его добровольно отпустили, мне тоже неизвестно, но знаю, что в конце концов он добрал до имени Шаховских, где и нашел свою семью.

По окончании кампании семья деда вернулась в Москву и поселилась на окраине города в маленьком низеньком домике, похожем скорее на избу. Окна зимой леденели, щели их затыкали тряпками. Домик тонул в сугробах снега. Бедность была полная. Мне говорили, что бабушка шила ридикюли и продавала их.

Наконец правительство уплатило Евстафию Ивановичу всего три тысячи ассигнациями за убытки, нанесенные войной. Никакие хлопоты не помогли ему получить большую сумму, и он должен был помириться с этим вознаграждением: правительство наше не имело средств уплачивать убытки не только полным рублем, но даже и десятою его частью, так как император Александр I, будучи в Париже, подарил французам военную контрибуцию.

Продав место из-под сгоревших домов и присоединив к этим деньгам полученные им от правительства три тысячи рублей, дед снова поступил на какую-то службу и занялся делами. Дела его понемногу поправились, но прежнего состояния он уже никогда не мог вернуть.

Когда подросли мальчики, они были отданы в лучший в то время пансион Шлёцера; затем в возрасте 15–16 лет они поступили в Московский университет, на медицинский факультет. Оба рослые, красивые и способные, они к 19–20 годам окончили университет. По окончании курса отец мой в качестве врача поехал в Париж с семьей Тургеневых. Иван Сергеевич был тогда еще мальчиком. Железной дороги еще не было, и ехали в экипажах. Отец мой всегда вспоминал об этом путешествии, как о самом приятном, поэтическом времени.

Два года прожил отец в Париже. Он с особенным интересом рассказывал про это время. Он посещал лекции и совершенствовался в своей специальности. По вечерам он слушал итальянскую оперу, в которой участвовала известная певица того времени Малибран. Отец был очень музыкален; больше всего он любил итальянскую музыку и нередко сам принимал участие в известных любительских итальянских операх, устраиваемых в те времена в Москве княгиней Волконской.

Семья наша сохранила навсегда отношения с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Еще в детстве помню я, как всякий раз, когда приезжал в Москву Тургенев, он бывал у нас. Также помню и бесконечные разговоры за обедом об охоте в Тульской и Орловской губерниях, и как я внимательно слушала рассказы Тургенева о красивых местностях, о закате солнца, об умной

охотничьей собаке... И меня влекло в этот неведомый мир, в этот молодой березник, где он стоял на весенней тяге вальдшнепов, которую он так красноречиво и любовно описывал отцу.

Вернувшись из Парижа, отец поступил на государственную службу в сенат. В здании Кремлевского дворца ему отвели казенную квартиру. В царствование императора Николая Павловича отец мой получил придворное звание гофмедика. Затем он хлопотал о восстановлении дворянского достоинства и герба своего, так как все сгорело в 12-м году, что и было возвращено обоим братьям.

Отец перевез своих родителей к себе. Евстафий Иванович вскоре умер, а мать его, Елизавета Ивановна, жила у моего отца и после его женитьбы.

II. Прадед мой по матери гр. П. В. Завадовский

Мать моя принадлежала к древнему дворянскому роду. Она была дочь Александра Михайловича Исленьева и княгини Козловской, рожденной графини Завадовской.

Прадед мой по крови, граф Петр Васильевич Завадовский, был известный государственный деятель и временщик Екатерины II. Я много читала о нем и слышала от деда Исленьева и многое в дальнейшем изложении заимствую из записок Листовского, женатого на внучке гр. П. В. Завадовского.

Завадовский принадлежал к числу тех талантливых людей, которых умела отличать своим орлиным взглядом Екатерина. Еще бывши молодым, он служил при графе Румянцеве, который правил тогда Малороссией.

Ничтожный случай выдвинул Завадовского по службе. Однажды, по поручению графа Румянцева, Завадовский написал докладную записку по одному секретному делу; она должна была быть подана императрице. Прочитав записку, Румянцев одобрил ее.

– Перебели ее, – приказал он.

Когда Завадовский переписал ее, она была послана Екатерине.

– Кто составил эту записку? – спросила императрица. – Первую деловую записку читала с удовольствием.

Ей доложили, что это был Завадовский.

После этого Завадовский был назначен правителем секретной канцелярии графа Румянцева.

Позднее уже Завадовский принимал участие в Турецкой войне в 1769 г. Он участвовал в битве при Ларге и Кагуле, где наш восемнадцатитысячный корпус разбил полтора тысячу турок.

Кучук-Кайнарджийский договор был написан Завадовский совместно с графом Воронцовым.

В Московском, вероятно, Румянцевском музее стояла «статуя мира», где изображен граф Румянцев и его помощники: Воронцов, Безбородко и Завадовский.

Сохранилось следующее предание.

После окончания войны Румянцев отказался от парадного въезда. Он ехал в Москве к императрице в придворной карете. Против него сидел Завадовский уже в чине полковника. Императрица жила тогда у Пречистенских ворот в доме князя Голицына.

Екатерина встретила победителя на крыльце и поцеловала его. Затем она обратила внимание на Завадовского, который стоял в стороне, пораженный ее величественной простотой. Румянцев представил Завадовского, как человека, который десять лет разделял с ним труды. Императрица обратила внимание не только на красивого молодого полковника, но и на георгиевский крест, висевший на груди его, и тут же подарила ему брильянтовый перстень со своим именем.

Вскоре Завадовский был произведен в генерал-майоры и затем пожалован в генерал-адъютанты. Он жил во дворце. Сближение это произошло в 1775 году.

Так прошло два года. У Завадовского было много завистников и недоброжелателей, и двор с его интригами начинал тяготить его. Он писал своему другу Семену Романовичу Воронцову, который жил тогда в Италии:

«Познал я двор и людей с худой стороны, но не изменюсь нравом ни для чего, ибо ничем не прельщаюсь. В моем состоянии надобно ослиное терпение». В другом письме он писал своему другу. «Кротость и умеренность не годятся при дворе; почитая всякого, сам от всех будешь презрен».

В 1777 году Завадовский, по совету Воронцова, уехал в деревню, где, отдыхая, наслаждался чтением, охотой и хозяйством. Но недолго пришлось ему пожить в деревне; вскоре он был возвращен Екатериною в столицу, где и был завален делами.

Деятельность Завадовского была очень обширна. Он участвовал во всех реформах второй половины царствования Екатерины. По словам историка Богдановича, Завадовский в течение восьми лет сделал для государства более, чем было сделано во все предшествующее столетие.

Завадовскому было поручено заведование Пажеским корпусом, который не был тогда военным, и другими школами придворного ведомства. Он участвовал в преобразовании делопроизводства Сената. Например, в прежнее время чтение какого-либо дела длилось 5–6 недель, и само собою разумеется, что содержание его не могло ясно удержаться в памяти сенаторов, чем ловко пользовалась канцелярия.

В 1784 году он был председателем комиссии по сооружению Исаакиевского собора. Затем основание Медико-Хирургической Академии принадлежит ему. Он посылал молодых медиков в Лондон и Париж.

Его любимое занятие было народное образование. В 25 губерниях Завадовский основал народные училища, что главным образом и ценила императрица.

Завадовскому за его деятельность были пожалованы Екатериною графский титул и имение в Малороссии в шесть тысяч душ, смежное с его родовым. Он назвал его «Екатеринодар», но Павел, вступив на престол, переименовал в «Ляличи», что по-малороссийски значит «игрушка».

Однажды Завадовский при Екатерине похвалил постройку известного архитектора Гваренги. Тогда императрица поручила Гваренги начертить план дворца и других построек и начать работу в Ляличах, на что Завадовский заметил:

– В сих хоромах, матушка, вороны будут летать, – давая понять этим, что он одинок, и жить там будет некому.

– Ну, а я так хочу, – сказала императрица.

И дворец и служебные постройки были воздвигнуты. Эта великолепная усадьба славились во всем округе.

Завадовский задумал жениться очень поздно, 48 лет, на красавице, молодой графине Апраксиной. Он писал о своем намерении императрице. Екатерина не любила Апраксиных и писала:

«Жаль мне честного, доброго Петра Васильевича, берет овечку из паршивого стада».

На что Завадовский отвечал: «Беру овечку из паршивого стада, но на свой дух надеюсь твердо, что проказа ко мне никак не пристанет, наподобие, как вынутое из грязи и очищенное от оной золото ничьих рук не марает... Благословите, всеподданнейше прошу, мой новый жребий матерним благословением. От вас имею вся благая жизни. Вы – мой покров и упование».

Императрица прислала Завадовскому образ Спасителя, а невеста его была пожалована фрейлиной.

Сама Екатерина путешествовала в это время по югу России. Свадьба Завадовского была 30-го апреля 1787 года.

Существует портрет графини Завадовской, изображенной с ее маленькой дочерью Татьяной. Его писал известный художник Лампи. Эта красивая картина, как мне говорили, находилась во дворце в. к. Константина Николаевича, но, где она находится в настоящее время, мне неизвестно.

Семейная жизнь Завадовского сложилась несчастливо. Старшие дети умирали; в особенности горевал он о смерти своей старшей дочери, Татьяны, умершей 4-х лет.

Он писал Воронцову: «Сколько я несчастливый отец, на что мне говорить! Шестерых детей слышал только первый голос и, подержав на руках, в гроб положил». «Все мое благо-

получие и счастье отца бесподобная дочь унесла с собою в гроб. Хотя живу, но, как громом пораженный, сам не чувствую моей жизни».

Усиленный труд и постоянные занятия спасли его от полнейшего отчаяния.

Завадовский устал, его тянуло в деревню, он любил свои милые Ляличи, но жена его не разделяла его вкусов: она не любила деревни, вела светскую придворную жизнь, и никакая роскошь в Ляличах не примиряла ее с деревней.

Ее муж был страстный охотник. Суражский уезд, где находилось его имение, был очень глухой и славился всяким зверем и дичью. Завадовский всей душой стремился к уединению, тем более, что весть о смерти обожаемой императрицы застала его больным.

В начале своего царствования Павел очень милостиво отнесся к Завадовскому; он прислал своего пажа справиться о его здоровье и в день коронавания пожаловал ему орден Андрея Первозванного. В 1799 г., в феврале, вся императорская фамилия посетила его бал, причем Павел, привыкший ложиться спать в 10 часов, уехал с бала, но семья осталась ужинать.

Мария Федоровна имела большое доверие к графине Завадовской и часто, запершись с ней, плакала о чем-либо огорчившем ее.

Деятельность Завадовского уменьшилась, хотя он и оставался в Сенате, в банке и в разных комиссиях, но любимое его дело, народное просвещение, было не в его руках. Он скучал, хандрил и писал Воронцову:

«Я не имею никакого дела и места. Титул больше пустой, чем деятельный, и человек, как всякий металл, ржавеет без употребления».

Притом Завадовского угнетал вспыльчивый, подозрительный нрав Павла, и он мечтал об отставке, которой добивался всячески, но императрица Мария Федоровна была против его отставки, и Павел долго на нее не соглашался.

Завадовский знал, что вся его переписка с Воронцовым читается, и что недоброжелатели всячески следят за ним.

Он писал Воронцову:

«Поддаюсь грустию и унынием и сильно желаю унести мои кости, чтоб не были зарыты в ограде Невской».

Наконец ему удалось получить увольнение. Завадовский был в опале. Екатерининские люди все более и более редели вокруг престола императора.

Граф был счастлив снова вернуться в свои Ляличи. Он с наслаждением принялся за хозяйство. Он любил садоводство и сам занимался им, заканчивал свои постройки и много читал. Но жена его очень скучала в деревне и оплакивала свою прежнюю петербургскую придворную жизнь, как говорил мне мой дед.

Любопытный случай дает понятие о тогдашних порядках.

Недоброжелатели Завадовского донесли Павлу, что граф живет выше его. Это означало, что Михайловский дворец стоит ниже дома графа. К счастью, Завадовский был предупрежден вовремя и успел велеть засыпать подвальный этаж и террасу возле дома, от чего дом вышел аршином ниже. Насыпь эта осталась и по сию пору.

Прошло два года с тех пор, как Завадовский покинул столицу. Смерть Павла внесла большую перемену в жизнь графа. В 1801 году, в марте месяце, Завадовский получил с фельдъегерем из Петербурга от Александра I рескрипт, написанный его рукой:

«Граф Петр Васильевич. При самом начале вступления на престол я вспомнил и верную вашу службу и дарования ваши, кои на пользу ее вы всегда обращали. В сем убеждении желаю, чтобы вы поспешили приехать сюда принять уверение изустное, что я пребываю вам доброжелательный Александр».

Взволнованный и растроганный до слез Завадовский, поведав жене свою радость, тотчас послал гонца в Сураж за исправником, чтобы распорядиться насчет лошадей по почтовому тракту и ехать в столицу.

Охотник, скакавший верхом за исправником, нашел его играющим в карты. Надо сказать, что исправник лучше всех знал, что граф Завадовский в опале; он пользовался его опальным положением, притесняя его, где только было возможно, желая нажиться насчет бывшего вельможи.

Исправник велел сказать, что он занят и не может приехать.

– Переменить коня, – приказал Завадовский, – и сказать ему, чтобы немедленно ехал.

И снова гонец поскакал в Сураж. Исправник явился с недовольным видом, причем объяснил, что он человек занятой, и нельзя посылать за ним до ночам.

– Мне нужно заготовить лошадей по тракту на Смоленск, – сказал Завадовский, показывая рескрипт воцарившегося государя.

– Простите, виноват, – пав на колени, произнес испуганный исправник.

Взяточник-исправник был выслан в Вятку, но вскоре, по настоянию Завадовского же, был прощен.

По прибытии в Петербург, Завадовский был милостиво принят государем и назначен присутствующим в Сенате председателем комиссии составления законов. Он снова с горячностью принялся за труд. Передовые взгляды его видны из письма его к графу Воронцову; он пишет своему другу:

«Тучи книг теоретического законоведства, которое не клеится с русским бытом... Непомерно хочется истребить кнут, которого я не видал ни в натуре, ни в действии, но одно наименование поднимало и поднимает во мне всю ненависть».

Мечте его суждено было осуществиться лишь через 50 лет после его смерти.

Завадовский снова вернулся к своей любимой деятельности! и. Он был первым в России министром народного просвещения. По его запискам и письмам за это время видно, как он устал от службы и как плохо себя чувствовал. Ему было уже 72 года, и здоровье его сильно пошатнулось. Он снова мечтал вернуться в деревню, но это было невозможно.

Дети его подрастали. У него было тогда три дочери и два сына. Император Александр I выразил ему свое благоволение: сыновья, отроки, были пожалованы в камер-юнкеры; старшая дочь София – в фрейлины. Жена его была пожалована кавалерственной дамой ордена святой Екатерины; сам он в 1805 году получил алмазные знаки Андрея Первозванного.

Завадовский умер в 1812 году и похоронен в Александро-Невской Лавре.

Род Завадовских прекратился. Старший сын умер холостым. Второй был женат и имел сына, который умер 16-ти лет. Ляличи были проданы сначала Энгельгардту, потом перешли к барону Черкасову, затем проданы купцу Самыкову.

Один поэт-путешественник, посетив в шестидесятых годах Ляличи, написал следующие стихи, включив в них и местные легенды:

Вот здесь великая царица
Приют любимцу создала,
Сюда искусство создала,
И все, чем блещет лишь столица,
В немую глушь перенесла.
План начертал Гваренги смелый,
Возник дворец, воздвигнут храм,
Красивых зданий город целый
Везде виднеет здесь и там.
Великолепные чертоги,

Ротонда, зал роскошных ряд...
Со стен на путника глядят
С ковров красавицы и боги,
И, полный вод, лугов и теней,
Обширный парк облег кругом;
Киоски и беседки в нем.
И бегают стада оленей
В зверинце темном и густом.
Под куполом, на возвышении
Руки художника творенье –
Стоял Румянцева колосс.
Но все ток времени унес:
Еврей Румянцева увез,
Широкий двор травой порос,
И воцарилось запустенье
В дворце и парке. Только там
Порою бродит по ночам
Жена под черным покрывалом,
В одежде черной. Кто она?
Идет по опустевшим залам.
Ее походка чуть слышна,
Да платья шум, да в мгле зеркал
Порою лик ее мелькал.
Еще видение другое:
По парку ездит в час ночной
Карета. Стук ее глухой
Далеко слышен. Что такое –
Карета та? Кто в ней сидит?
Молва в народе говорит,
Что будто в ней сама царица
С своим любимцем в парке мчится.

III. Дед и бабка по матери

Старшая дочь Завадовского, Софья Петровна, 17 лет вышла замуж за князя Козловского и прижила с ним сына, который умер в молодых годах. Она была очень несчастлива с своим мужем, который страдал пороком алкоголизма.

Через несколько лет после своего замужества она встретила в петербургском свете с Александром Михайловичем Исленьевым. Они полюбили друг друга и тайно обвенчались в его имении Красном, Тульской губернии. Вся эта история наделала много шума, как в свете, так и при дворе, так как Софья Петровна была в девушках фрейлиной.

По жалобе князя Козловского, брак этот был признан незаконным, а о разводе в те времена и помина не было.

Софья Петровна была очень религиозна, и обряд венчания поставлен был ею необходимым условием. «Перед Богом я жена его», – говорила она. И, действительно, своей чистой, уединенной семейной жизнью до самой своей смерти она доказала это.

Обвенчавшись, они уехали в Ляличи... Графа, отца, уже не было в живых, а мать простила и приняла их.

Дед мой, Александр Михайлович Исленьев, до своей женитьбы служил в военной службе и участвовал в кампании 1812 года. Он поступил в 1810 году юнкером в лейб-гвардии Преображенский полк; потом в 1811 г. во вновь образовавшийся лейб-гвардии Московский полк.

Он участвовал в сражениях при Смоленске, Вязьме и Бородине. После сражения при Бородине был произведен в офицеры.

В 1813 г. он принимал участие в осаде крепости Модлин (Иван-город) и после войны был в Киеве адъютантом генерала Михаила Федоровича Орлова.

Его троюродный брат Николай Александрович Исленьев, о котором я слыхала от своего деда, был командиром Преображенского полка во времена Николая Павловича. Он был известен тем, что был в числе усмирявших бунт декабристов на Сенатской площади. Он был генерал-адъютантом и женат на красавице графине Миних.

Дед мой, Александр Михайлович, когда увез княгиню Козловскую, вышел в 1820 г. в отставку в чине капитана гвардии и поселился в Ляличах.

Сколько времени они жили в Ляличах, я не знаю. Деду было необходимо заняться делами своих родовых имений, которые находились в Тульской губернии, и он решил переселиться в имение Красное.

С большим сожалением покинула Софья Петровна свое родное гнездо, где все напоминало ей отца, память которого она чтит выше всего.

Дедушка был человек старого закала: хороший хозяин, крепостник, и иногда даже жестокий, как я слыхала про него. Отличительная черта его характера была жизненная энергия, которую он сохранил до глубокой старости. Он был страстный игрок, охотник, любитель цыган и цыганского пенья. В околотке славилась его псовая охота.

Дед описан в «Детстве» и «Отрочестве» в лице отца Николеньки Иртеньева. Глава, озаглавленная «Что за человек был мой отец», вполне характеризует А. М. Исленьева. Приведу несколько строк из этой главы:

«Он... имел... неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула».

«Две главные страсти его в жизни были карты и женщины; он выиграл в продолжение своей жизни несколько миллионов и имел связи с бесчисленным числом женщин всех сословий... Он умел... нравиться всем... в особенности же тем, которым хотел нравиться».

Дед имел хорошее состояние так же, как и бабушка, но, к сожалению, одно имение за другим уходило в уплату карточного долга. Одно Красное, казалось, было неприкосновенно.

Страсть к игре была так сильна, что даже жена его, имевшая на него большое влияние, как мне рассказывала тетушка Льва Николаевича Т. А. Ергольская, не могла удержать его от игры. Всякий раз, как он уезжал в город, Софья Петровна знала, что он будет играть, и проигрыши, которые постепенно вели их к разорению, вносили в их семейную жизнь тревогу и горечь.

Однажды, поджидая своего мужа, уехавшего с утра в город, Софья Петровна услышала в окно конский топот. Это был верховой из города с письмом от бабушки. Он писал, что Красное проиграно, и что он пишет ей об этом, не решаясь объявлять ей лично эту ужасную новость.

Многое пережила в эту ночь несчастная жена его. Но судьба, видно, сжалилась над ней, и к утру был другой гонец с известием, что Красное отыграно. Близкий друг деда, Софья Ивановна Писарева, дала ему 4 тысячи, и деду удалось отыграть Красное.

И, действительно, нередко случалось так, что бабушка проигрывал в один вечер по целому состоянию и нередко отыгрывал его. Он ставил на карту брильянты бабушки, крепостных, красивых девок, борзых собак и кровных лошадей.

Сосед его и друг, Павел Александрович Офросимов, тульский крупный помещик, рассказывал, что счастье в игре бабушки иногда бывало сказочно.

«На простынях золото и серебро выносили», – говорил он.

Александр Михайлович Исленьев, вследствие знакомства с многими декабристами, был арестован и сослан в Холмогоры. Но за отсутствием всяких улик в вредных с ними сношениях, он был вскоре освобожден.хлопотать об этом ездила в Петербург Софья Петровна...

С тех пор она безвыездно жила в деревне и единственно с кем сохранила прежние дружеские сношения, это с семьей Толстых, так как бабушка мой был на «ты» с Николаем Ильичей, отцом Льва Николаевича.

Бабушка посвятила свою жизнь всецело детям, которых было уже пять.

Татьяна Александровна Ергольская рассказывала мне про нее. Она знавала ее в молодости, она говорила, что Софья Петровна была очень женственна, нежна и хороша собою, но что красоту ее портил большой рот. Она имела очень хорошее влияние на своего мужа и не раз удерживала его от привычной суровости с крепостными. Она, как и отец ее, возмущалась всяким насилием. Мне рассказывали про такой случай.

Однажды доезжачий Степка спьяна в чем-то провинился на охоте, но в чем именно, не помню, знаю только, что это было при травле волка. Охота была для бабушки одним из занятий, имевших для него большое значение. Дед сильно вспылил на Степку; его бешеный крик разносился по лесу. Он велел привязать доезжачего к дереву и наказать его арапником.

Софья Петровна, принимавшая участие в охоте, узнала об этом. Спрыгнув с седла, она побежала к деду; он стоял на опушке леса. Она увидела его разгоряченное, разгневанное лицо, а поодаль Степку без шапки, с растрепанными волосами и с пьяным, жалким выражением лица. Софья Петровна с такой энергией просила за Степку, что деду пришлось уступить и простить его.

Тот же Степка, как мне рассказывали, не раз ворчал на бабушку во время охоты, когда дед, бывало, промахнется в чем-нибудь.

– Ну вот! – кричал Степка, – дождались! Чего уж хуже осрамялись! Таперича пойдут говорить, что Ахросимовские собаки резвее наших! – чуть не плача, ворчал Степка.

И бабушка слушал его молча и понимал, за что негодовал на него доезжачий.

Жизнь в деревне сложилась у них, как у всех зажиточных помещиков тех времен. Жизнь широкая, но без роскоши. Всего было вдоволь: лошадей, людей целая дворня, девичья, полная пядишниц, старший дворецкий, русские няньки; при старших детях французенка Мими, описанная в «Детстве» и «Отрочестве».

Дом был большой, но старый, с большим липовым садом. В гостиных – жесткая, высокая мебель из красного дерева, в детских – люльки домашних столяров. Все носило на себе отпечаток старинной строгой простоты.

Так прожили они 15 лет, когда внезапно деда постигло несчастье. Софья Петровна заболела и умерла, оставив мужу трех дочерей и трех сыновей.

Дед был в отчаянии, ему казалось, что с нею он потерял все. По часам он просиживал перед ее портретом, написанным масляными красками.

Дед остался жить в деревне и усиленно занимался воспитанием сыновей. Усыновить детей ему не удалось, несмотря на всевозможные хлопоты. Дети носили фамилию Иславиных, что ставило их впоследствии в неловкое положение. Слышала я от матери, что князь Козловский предлагал усыновить детей с тем, чтобы ему за каждого ребенка платили по сто тысяч. Но этого не сделали.

Старший сын, Владимир, был известный деятель и очень образованный человек. Он был женат на Юлии Михайловне Кириаковой, очень милой и красивой девушке. Он и второй брат, Михаил Александрович, дослужились до высоких чинов и сами создали себе положение.

Жизнь третьего сына, Константина, сложилась неудачно: он нигде не служил, не имел состояния, не был женат и не имел чинов, которые помогали бы ему в его фальшивом положении незаконнорожденного. Впоследствии уже дядя работал, по рекомендации Льва Николаевича, у Каткова, в редакции «Московских ведомостей» и «Русского вестника». В семье Катковых он был «свой человек» и очень любим так же, как и в доме графа С. Д. Шереметева, у которого он за несколько лет до своей смерти служил в его Странноприимном доме. Дядя знал всю Москву известного круга и имел много друзей.

После смерти дяди граф Шереметев написал о нем брошюру. Он вложил в нее столько души и симпатии, что я без слез не могла читать ее.

Граф пишет, между прочим, характеризуя дядю: «Он был осколком минувшего хорошего времени... и до конца дней своих остался верным старым традициям и привычкам...» «Так он жил и таковым ушел в могилу, оставаясь верным вере отцов своих и соединяя сочувствие к прошлому с стремлениями к просветительному движению, сохраняя свою особую необычную независимость, которая без всякой гордыни являла одну из самых привлекательных сторон этого светлого и чистого сердцем старца, вечно юного и всему сочувствующего». «Удивительная порядочность, чуткость, благовоспитанность, музыкальный дар – вот отличительные свойства Иславина».

IV. Жизнь матери до замужества

Горе деда понемногу забывалось, и через несколько лет он женился на дочери тульского помещика Софии Александровне Ждановой.

Три дочери дедушки от первого брака были девочки от 12 до 17 лет, и появление в доме молодой мачехи было встречено недружелюбно. В семье возникали часто раздоры. У Софии Александровны, которая описана в «Детстве» и «Отрочестве» Льва Николаевича под названием *La belle Flamande*¹, пошли свои дети, и невольно интересы ее сосредоточились на ее собственных детях, хотя она и была хорошая женщина и сохранила лучшие отношения к моей матери до конца своей жизни. Старая Мими оставалась в доме и при Софии Александровне.

Дочери воспитывались дома по-старинному. Главное внимание было обращено на французский язык, музыку и танцы. Всему этому обучала Мими. В деревне жили безвыездно, довольствуясь обществом местных помещиков.

Имень дедушки, Красное, находилось в тридцати пяти верстах от Ясной Поляны Толстых, и мать рассказывала мне, как они езжали друг к другу по праздникам и оставались гостить по неделям. Возили с собой поваров, лакеев, горничных и весь этот люд ютился в коридорах и каморках; спали на полу, подстелив войлок или рогожку, привычные к неряшливой простоте.

Прошло два года, и деду пришлось изменить свой образ жизни и переехать на зиму в Тулу. Дочери были на возрасте невест, и оставаться в деревне было трудно; к тому же зимою предстояли дворянские выборы.

Выборы в губернском городе в те времена имели значение не только служебное, но и как использование выездов для замужества дочерей. Немногие помещики уезжали на зиму в Москву, «ярмарку невест», большинство оставались в своих имениях или переезжали в губернский город. Железных дорог тогда и помина не было, шоссейных весьма мало, и грязные проселочные дороги ставили большую преграду в способе передвижения.

Осенью в Туле, на Киевской улице, был нанят большой одноэтажный дом-особняк, и в ноябре вся семья Исленьевых переехала в Тулу. На 20-ти, 30-ти подводах везли мебель, домашнюю утварь, провизию и многочисленную дворню. В эту зиму был большой съезд помещиков, готовились балы и другие увеселения.

Старшая дочь, Вера, была очень красива, что я всегда слышала от Льва Николаевича. Высокая, стройная, с темными глазами, она очень напоминала свою бабушку Апраксину. Вторая, Надежда, не была красива, но привлекала своей простотой и веселостью. Моя мать была тогда еще девочка-подросток.

Дедушка был большой хлебосол, любил хорошо принять у себя и, кроме определенных вечеров и балов, принимал и запросто, как принято было говорить «на огонек». Этот весьма оригинальный способ приглашения вполне заслуживал название «на огонек». На окна, выходящие на улицу, ставили высокие подсвечники с зажженными восковыми свечами, и это считалось условным знаком между знакомыми, что они дома и ожидают к себе тех, кто пожелает их видеть.

И этот способ приглашения был так принят, что обыкновенно, когда в городе не предвиделся бал или концерт, что, конечно, было известно заранее, то, как говорила мне мать, посылали казачка Петьку посмотреть, у кого из знакомых зажжены свечи, и Петька, надев общий тулуп и валенки, бежал к дому Казариновых, Мининых и прочих и докладывал, в каком доме выставлены свечи. В душе своей Петька принимал большое участие в том, где именно стоят подсвечники, и куда именно барышни поедут, потому что он знал, куда им больше хотелось ехать.

¹ Прекрасная фламандка (фр.)

Когда это был желанный дом, Петька торжественно выкликал господ, конечно, не по фамилии их, он и не знал ее, а по имени их имения.

– У Малаховских огонь в окнах горит! – докладывал он, зорко наблюдая за тем, как барышни примут это.

Он не раз слышал разговоры их, они не стеснялись его присутствия и, почти не замечая его, при нем выражали или радость, или сожаление кого-либо видеть в этот вечер. За настоящего человека Петька в доме не считался, а был так себе Петька, да и только.

Его должности в доме были самые разнообразные. Он был «затычка» всех дел старшей прислуги. Послать ли куда, достать ли что, набить ли трубку табаком, или словить петуха или молодую белку детям, – говорилось обыкновенно: «Да позовите Петьку».

Петька знал отлично все, что делается в доме. Он был добродушно глуповат, с торчащими вихрами на голове, бил часто посуду по своей неловкости, за что и получал подзатыльники от старших. За обедом, в куртке с светлыми пуговицами и с павлиньим хвостом в руках, он отмахивал мух за барским столом. Старшему лакею Никите было поручено обучать Петьку лакейской должности. Выправка его давалась с трудом с обеих сторон. Петька 13-ти лет был взят прямо из избы. Грязный, неряшливый мальчишка, он не умел ни войти в комнату, как следует, ни ответить на вопросы и, как дикий зверек, в первое время долго не понимал, что от него требовалось. Бывало, пошлет его Никита узнать, встают ли господа, Петька придет и скажет: «сплят».

Никита строго посмотрит на него и, взяв его за ухо, приговаривает:

– Почивают, почивают, а не спят.

В другой раз Петька скажет про господ: «поели», и снова начинается муштровка:

– Покушали, покушали. Господа не едят, а кушают. Дурень ты этакий, – учил его Никита.

Много таких типов встречалось в те времена в старинных барских домах, и из них нередко выходили люди умелые и преданные господам.

Эта зима 1837 года для деда была особенно удачная. Он много выиграл в карты, и две его дочери были помолвлены. В Красном были уже посажены пядишницы и швеи шить барышням приданое. Обыкновенно в старину начинали шить приданое дочерям, когда невеста была еще в возрасте ребенка. Так было и теперь, многое уже было заготовлено.

Дворня была взволнована известием о помолвке барышень. В девичьей шло оживление. Старшая горничная Глафира раздавала пядишницам нарезанные куски тонкого батиста для вышивания.

Каждой девке был задан урок, который она должна была выполнить в течение дня. Разговор за работой не полагался, это отвлекало бы их внимание, но нередко, когда уходила Глафира, слышалась заунывная песня со словами:

Магушка родимая
На горе родила.
Худым меня счастьем,
Счастьем наградила.

Они тянули вполголоса песню со второй, иногда очень недурными голосами, и в этой песне чувствовалась жизнь, и проглядывали радость, печаль и любовь, часто затаенная и подавленная. Не слыша приближающихся шагов Глафиры, какая-нибудь девка вдруг затягивала веселую хоровую:

Во лужочках, во лугах,
Стоят девки во кружках,
По другую по сторонку

Стоят удалы молодцы...

И ее песнь подхватывали веселые, молодые голоса, и на всех лицах появлялась задорная улыбка.

V. Замужество матери

Старшая дочь дедушки, Вера, вышла за Вольнского помещика, Михаила Петровича Кузминского, приехавшего из Петербурга, где он служил.

Вторая, Надежда, вышла за тульского уездного предводителя дворянства, помещика Карновича.

У Веры Александровны было трое детей: две дочери и один сын, Александр. После нескольких лет счастливого супружества она овдовела. Ее муж умер от холеры, свирепствовавшей в 1847 году в Воронеже, где они жили.

Во втором браке она была замужем за крупным воронежским помещиком, Вячеславом Ивановичем Шидловским, и имела много детей.

В доме Исленьевых оставалась младшая дочь, Любовь, и дети от второго брака.

Сыновья деда поступили в Дерптский университет, и следующую зиму семья провела в деревне. Но Софья Александровна, как и покойная бабушка, тревожно относилась к частым поездкам своего мужа в город и следующую зиму решила провести в Туле, что и было исполнено.

Меньшей дочери, Любочке, было тогда 15 лет. Она, так же как и старшая сестра ее, была высокого роста и обещала быть красивой девушкой, с большими черными глазами, толстой косой и необыкновенно нежным цветом лица.

Оставшись дома без сестер, она чувствовала себя очень одинокой и все вечера просиживала с преданной Мими. Выезжать ей было рано, а о ее замужестве еще никто и не помышлял. Она продолжала свои уроки с Мими, а русские уроки преподавал уже не полуграмотный семинарист, бывший в деревне, а настоящий учитель.

Эта зима была особенно памятна Любочке.

В начале зимы она сильно заболела. По тогдашнему определению, у нее была горячка и настолько серьезная, что жизнь ее была в опасности. Все местные доктора были призваны к постели больной, но болезнь не улучшалась, когда отец Любы случайно узнал, что в Туле, проездом в Орловскую губернию, остановился московский врач. Исленьев пригласил его к дочери. Этот врач был Андрей Евстафьевич Берс. Он ехал к Тургеневу в его орловское имение.

Болезнь Любочки приковала Андрея Евстафьевича к постели больной. При виде умирающей, молодой, цветущей девушки, он приложил все свое знание и силы, чтобы спасти ее.

Болезнь затянулась, и Андрей Евстафьевич уже не думал о своей поездке. Он оставался в Туле, пока Любочка не стала снова возвращаться к жизни и могла подняться на ноги. Он уже освоился с домом Исленьевых и был у них принят, как свой. Когда, наконец, он снова собрался в путь в Орловскую губернию, с него взяли слово, что он непременно побывает у них на обратном пути. Но Андрей Евстафьевич и без этого намеревался посетить их, так как уже не шутя был увлечен своей пациенткой.

Любочка после его отъезда почувствовала в душе своей как бы пустоту. Не отдавая себе отчета в своих чувствах, она во время своей болезни привыкла к его заботливому, ласковому отношению к себе, чем она далеко не была избалована дома, и, лишившись этой ласковой заботы, она скучала первое время после его отъезда.

Наступили праздники рождества. Любочка была еще слаба после перенесенной ею болезни и мало выходила. По вечерам в виде развлечения ей позволено было гадать с молодыми горничными, что очень забавляло ее.

Приносили петуха, лили воск, пели свадебные песни, причем, пропев хором песню, вытаскивали из прикрытой чашки чье-либо кольцо. Песня же предвещала либо свадьбу, либо горе, либо дальний путь, смотря по словам ее.

Одно из гаданий, как это ни странно сказать, сыграло значительную роль в судьбе моей будущей матери.

Опишу его с ее слов.

Накануне Нового года девушки тихонько от барышни поставили ей под кровать глиняную чашку с водой, положив поверх ее дощечки, что изображало мостик. Это гаданье означало, что если видеть во сне своего суженого, то он должен провести ее по мостику.

Любочке это гаданье было неизвестно.

На другое утро, войдя в комнату Любовь Александровны, девушки спросили, что она видела во сне.

– Я видела сон, – говорила Любочка, – что строят дом, и мы с Андреем Евстафьевичем осматриваем его. Идем дальше, а тут уже не дом, а какие-то развалины, и через груды камней лежит узкая доска. Я должна перейти ее, а Андрей Евстафьевич почему-то уже стоит по другой стороне доски. Я боюсь идти, а он уговаривает меня, подает мне руку, и я перехожу.

Горничные дружно засмеялись.

– Поздравляем вас, барышня, в этом году быть вам за Андреем Евстафьевичем, вот тогда увидите, – говорили они.

С тех пор, как ни странно, рассказывала мне впоследствии мать, она стала иначе думать об Андрее Евстафьевиче. Ее юными мечтами, как бы нечаянно, но властно овладел тот, кто провел ее во сне через мостик в ночь на Новый год.

Ее еще почти детские грезы всецело принадлежали ему, хотя ей и самой подчас не верилось, что она, учащаяся девочка, может выйти замуж, как ее старшие сестры.

Да и трудно было бы предполагать, чтобы любовь так рано могла проснуться в девушке, одиноко воспитанной в деревне. Конечно, мечты эти были ей навеяны толкованием сна.

Вернувшись от Тургенева, Андрей Евстафьевич стал часто посещать дом Исленьевых. Любочка относилась к нему немного иначе, с большим вниманием, причем застенчиво краснела при его появлении.

В семье с неодобрением замечали эту перемену, но Андрей Евстафьевич, торопившийся ехать в Москву и уже сильно увлеченный Любочкой, решил сделать ей предложение.

Вся семья была против этого брака, даже сестры и братья отговаривали Любу давать согласие на предложение. В те времена брак этот считался неравным, как по положению, так и по годам. Андрею Евстафьевичу было тогда 34 года.

В особенности возмущалась согласием на этот брак, вымоленный Любочкой у отца, мать его, бабушка Дарья Михайловна Исленьева, происхождением из древнего дворянского рода Камыниных, родственного Шереметевым.

– Ты, Александр, будешь скоро своих дочерей за музыкантов отдавать, – строго говорила мать сыну, выговаривая по-старинному слово «музыкантов».

Но Люба настояла на своем. В феврале ей минуло 16 лет, а 23 августа, в 1842 году она венчалась со своим женихом. После свадьбы молодые уехали в Москву.

VI. Родители

Семейная жизнь моей матери сложилась в первые годы ее замужества не совсем счастливо.

Шестнадцатилетняя красивая девушка, не знавшая ни света, ни людей, попала в непривычную, чуждую ей обстановку. Городская жизнь, городская квартира казались ей клеткой после привольной деревенской жизни, большого, просторного дома, ее милого родного сада, с широкими липовыми аллеями, где протекло ее детство и где все ей было привычное и родное.

Окружена она была двумя старухами и уже пожившим, не особенно молодым мужем.

В доме, как я уже писала, жила мать мужа Любочки, и часто гостила Марья Ивановна Вульферт, сестра бабушки Елизаветы Ивановны.

Елизавета Ивановна была живая, ласковая, очень добрая старуха. Она была среднего роста, немного полная, быстрая, с легкой походкой. Она вела все хозяйство, и Любовь Александровна ни во что не входила.

Скажу несколько слов о сестре бабушки. Она тоже жила первое время в доме отца моего. Мария Ивановна была старая дева, старше бабушки. Это была сухая, чопорная старуха, иначе не говорившая, как по-французски, требовавшая от Любочки беспрекословного повиновения и изящных, сдержанных манер. Я очень хорошо помню Марью Ивановну. Она носила турецкую шаль, заколотую на груди брошкой из старинного камэ, и тюлевый с рюшем чепец.

Мария Ивановна почти всегда сопровождала мать мою в прогулках, так как первый год ее замужества Любовь Александровна никогда не выходила одна. Во время прогулки Мария Ивановна давала ей наставления, как держать себя в обществе, рассказывая ей и про старину. Эти наставления впоследствии слушали и мы, девочки. Я помню Марью Ивановну очень хорошо. Сестру Соню она любила больше всех и говорила: – «*Sophie a la tete abonnee*»², что значило, что она непременно и скоро выйдет замуж.

И эти две старушки, столь различные по характеру, составляли главное общество Любви Александровны. Вечера мать моя часто проводила с бабушками, вышивая на пяльцах и развлекающая их своей молодой болтовней.

Андрей Евстафьевич, чтобы занять свою жену, посоветовал ей продолжать свое образование, на что она охотно согласилась.

Фрейлина Марья Аполлоновна Волкова предложила Любочке заниматься с нею русской литературой, Марья Ивановна – французской.

Марья Аполлоновна Волкова была большим другом Андрея Евстафьевича. Энергичная, живая, с большими серыми глазами и седеющими буклями, прищипленными у самого лба по тогдашней моде, она была уже не первой молодости. Я помню Марью Аполлоновну. Хороша собой она никогда не была, но славилась своим прямым, здравым умом и острым языком, которого многие побаивались. Все московское общество хорошо знало ее и относилось к ней с большим уважением.

Когда Лев Николаевич писал «Войну и мир», отец мой по просьбе Льва Николаевича достал у Марии Аполлоновны переписку ее с графиней Ланской, послужившую материалом к переписке княжны Марьи с Жюли Карагиной.

Марья Аполлоновна была не только умна, но считалась и очень образованной.

Уроки с Любочкой начались, и они занимали как ученицу, так и учительницу в равной степени. Сколько времени продолжались эти уроки, не знаю, но были прекращены поневоле, когда пошли ежегодно дети. Жизнь Любви Александровны совершенно изменилась.

² Игра слов: у Сони – голова в чепце, или: у Сони – голова абонирована.

Мать отца, бабушка Елизавета Ивановна, умерла в Петербурге от эпидемии холеры, когда я еще была ребенком, и после ее смерти и Мария Ивановна уехала от нас. Впоследствии она часто гостила у нас по неделям.

Хозяйственные заботы и частые дети поглощали всю жизнь Любви Александровны. Всех детей нас было 13 человек, из которых пять умерло в детстве. Старшими были мы, три сестры, и брат Александр. Затем, после нескольких лет промежутка, шли меньшие. Из нас четверых я была меньшая. Не буду касаться нашего детства, коснусь лишь жизни родителей.

Жили мы в Кремле, в «ордонансгаузе», в здании, примыкающем к дворцу, так как отец был гофмедик.

Помню отца седым, красивым стариком, с большими синими глазами, длинной седой бородой, высокого и прямого. Воспоминания мои о нем отрывочны. Первые годы его женитьбы мне совсем почти неизвестны. Бывши ребенком, я мало помню его: он был очень занятой человек, и в детстве с нами всегда была мать.

Мать была серьезного, сдержанного и даже скрытного характера. Многие считали ее гордой. Она была очень самолюбива, но не горда.

Вся ее молодая жизнь протекла в заботах о нас. Я не ценила этого; думаю, что и другие дети тоже. Мы считали это как бы должным.

Несмотря на ее заботы, наружно мать казалась с нами строга и холодна. В детстве она никогда не ласкала нас, как отец; она не допускала с нами никаких нежностей, отчего я в душе своей часто страдала, но к 14–15 годам мне удалось побороть эту мнимую холодность и вызвать в ней сочувствие и ответ на мою любовь и ласку, и я почувствовала, что для нас, детей, в семье мать была все.

Она не любила свет, никуда почти не ездила, очень трудно сходилась с людьми; а вместе с тем дом наш всегда был полон народу, благодаря отцу и нам, детям, уже подрастающим и сильно заявляющим свои права к жизни.

Родственники, знакомые, друзья, молодежь не выходили из нашего дома. Иные гостили по месяцам. Дом наш считался патриархальным и был «полной чашей». Одной прислуги насчитывалось до десяти-двенадцати человек.

Старинные люди жили у нас подолгу. Кучер Федор Афанасьевич служил у нас со дня женитьбы отца до самой своей смерти. Степанида Трифионовна, занимавшаяся хозяйством, прожила у нас 20 лет и после смерти отца в годы моего замужества перешла жить ко мне. Лев Николаевич, бывая у нас, нередко беседовал с ней; упоминает он ее в своих письмах. Она скончалась у меня в доме, прожив еще 20 лет.

Помню еще Веру Ивановну, вынянчившую у нас почти всех детей. Она была из духовного звания и имела дочь Клавдию наших лет. Это была женщина, одаренная большим тактом. Няня знала всегда, что делалось дома и в особенности у господ. Это был духовный барометр дома. В доме она пользовалась общим уважением.

Роскоши в доме никакой не было. В те времена и сама Москва была патриархальна. Воду возили в бочках, улицы были грязны и плохо освещены. Домашние животные бродили по дворам, а нередко и по улицам. В домах горели олеин и сальные свечи. Этим же салом лечился насморк и кашель. Я помню мучительное чувство в детстве, когда бабушка приказывала своей горничной Параше накапать сала на синюю сахарную бумагу и привязать мне ее на грудь от кашля, а в сахарную воду накапать 10 капель сала и дать мне выпить.

Жители Москвы большей частью жили в особняках своим хозяйством, держали лошадей, коров, кур и пр. Отец мой был хороший хозяин. Он был человек очень цельный, прямодушный, энергичный, горячий сердцем и очень вспыльчивый. Он имел неровный характер, от которого нередко терпели домашние. Иногда его несдержанный крик в порыве гнева пугал нас, детей, тогда как мы никогда не слышали возвышенного голоса матери, но, несмотря на эти вспышки, он был очень любим в доме за свою доброту и щедрость.

Благодаря его общительности нас очень многие знали во всех слоях общества Москвы. Отец умел подходить к людям просто и ласково, легко сходилась и даже дружил со многими, над чем мать не раз подтрунивала, говоря:

– А папа опять привел к себе с улицы нового друга.

И, действительно, я хорошо помню один из таких случаев.

Однажды отец пошел гулять в Кремлевский сад и, отдыхая на скамейке, разговорился с тут же сидящим приезжим американцем. Мистер Мортимер был человек лет 50-ти. Он произвел на отца хорошее впечатление своей общительностью иностранца и был тут же приглашен отцом к нам на обед. Это было как раз в воскресенье, когда по обыкновению к нам на обед собирались наши близкие. Приход незнакомца никого не удивил. Все уже привыкли к неожиданным гостям. С тех пор для Мортимера каждое воскресенье стоял прибор. Все привыкли к нему и даже полюбили его.

Он был человек начитанный, говорил по-французски с английским акцентом, с отцом беседовал о политике, со мной играл в шахматы. Нам, сестрам, помогал в английских уроках и обыкновенно, сидя в углу диванчика, спокойно покуривал свою маленькую трубочку, рассказывая нам что-либо про американцев или слушая нашу болтовню, из которой, впрочем, многое и не понимал, снисходительно улыбаясь. Так прошло около года. В одно из воскресений Мортимер не пришел к нам. В следующее воскресенье прибор снова стоял пустым. Отцу удалось, наконец, узнать печальную весть: Мортимера арестовали, как замешанного в политических делах и подозреваемого в шпионстве. С тех пор о Мортимере мы никогда ничего не слышали.

Хотя отцу все это было крайне неприятно (он все-таки привык и любил Мортимера), но все же случай этот не поколебал его доверчивости к людям. Эта черта характера была его особенностью. Различия сословий и наций для отца не существовало: он ко всем относился одинаково дружелюбно.

Бывало, придешь к нему в кабинет, а там сидит мужик Василий и пьет с ним чай, тут же сидит и князь Сергей Михайлович Голицын и друг детства отца, декан Московского университета профессор Анке, А. М. Купфершmidt, первая скрипка Большого театра, актер Степанов и другие. Последние два гостя и Василий были товарищи отца по охоте.

Отец был страстный ружейный охотник и большой любитель природы. Это видно из его письма к Льву Николаевичу, написанного, когда сестра моя была уже замужем.

Желание отца поохотиться с Львом Николаевичем сбылось. В 1864 г., в апреле месяце, отец приезжал в Ясную Поляну и ходил с Львом Николаевичем ежедневно на тягу вальдшнепов.

Отец имел привычку вставать рано. Бывало, с утра перебивает у него множество разнообразного люда. Кто с просьбой избавить от солдатчины, кто поместить старуху в богадельню или сироту в приют, кого помирить в семейной ссоре и пр. Отказа никому не было. Отец с своей неисчерпаемой энергией объездит всю Москву, но добьется своего. Однажды совершенно неожиданно пришлось ему заступиться за студентов и этим оказать им большую услугу. Не раз слышала я про эту историю от моего отца.

Дело было так.

У одного студента вечером собрались его товарищи: после ужина они вздумали варить жженку. Шампанского дома не оказалось. Один из студентов взялся достать вино и отправился за ним. На обратном пути он был замечен квартальным, подстерегавшим какого-то жулика.

Ошибочно приняв студента за жулика, он стал следить за ним.

Вскоре после того, как студент, ничего не подозревавший, вернулся с вином к товарищам, полиция стала стучаться в дверь. Студенты, не понимая, что нужно от них полиции, двери не открыли, требуя, чтобы привели по тогдашним правилам кого-нибудь из представителей университета. Квартальный ушел и доложил об этом приставу. Пристав, не вникая в дело и

бывши в нетрезвом виде, прокричал: «Бей их». И, прибавив к этому ругательство, не обратил никакого внимания на суть дела.

Квартальный, набрав несколько человек из пожарных и полиции, снова пришел к студентам, которые были уже выпивши.

Полиция стучит в дверь. Студенты не открывают. Полиция выломала дверь и ворвалась к ним на квартиру.

Студенты потушили огонь, и тут началась страшная драка. Били бутылками, тесаками и чем попало. Студент-хозяин был сильно избит и отправлен в больницу.

Дело дошло до обер-полицеймейстера. Обер-полицеймейстер хотел миролюбиво покончить с этой историей и просил суб-инспектора университета передать пострадавшему студенту деньги. Но студент денег не взял и, вынув из-под своей подушки последние пять рублей, швырнул их суб-инспектору.

Эта история наделала много шума в Москве. И я слышала от отца рассказ про это событие и его восторженный отзыв об отношении государя к этому эпизоду.

Университетское начальство было глубоко возмущено действиями полиции. Попечитель Ковалевский и профессора составили протокол против полиции.

Генерал-губернатор Закревский, видя, что дело плохо, послал телеграмму государю, которого ожидали тогда в Москву:

«Студенты бунтуют. Попечитель и профессора держат их сторону».

Государь Александр II находился тогда в Варшаве и ответил телеграммой:

«Не верю, буду сам».

Через несколько дней государь прибыл в Москву и остановился в Большом Кремлевском дворце. Он был нездоров, не выходил и никого не принял – ни попечителя, ни губернатора. Мой отец был приглашен к царю в качестве врача.

Государь всегда особенно милостиво относился к отцу. Однажды он подарил отцу охотничьего сеттера, а отец через год послал государю прелестных двух щенят. Помню у отца табакерку с бриллиантами, подаренную царем. И всякий приезд царя в Москву был для отца праздником. Но этот приезд государя был ему всего памятнее и приятнее.

После своего обычного визита, как врача, отец, откланявшись, стал уходить. Государь окликнул его:

– Берс, не можешь ли ты рассказать мне что-либо о столкновении студентов с полицией.

– Точно так, могу, ваше императорское величество, мне известны все подробности этой истории от декана Анке, – отвечал отец.

– Так садись и рассказывай, – сказал государь. Отец правдиво и подробно рассказал царю все, что было ему известно из достоверных источников об этой истории. Результатом этого разговора было разжалование в солдаты квартального и пристава. Обер-полицеймейстеру был сделан строжайший выговор.

Попечителя Ковалевского царь потребовал к себе, сказав ему, что студенты вели себя молодцами, что он благодарит попечителя и профессоров за то, что вступились за студентов.

Так и окончилась эта печальная история.

Она была описана в одном из журналов Андреем Андреевичем Ауэрбахом, который хорошо знал моего отца и всю нашу семью.

Перейду теперь к нашему детству.

VII. Наше детство

Свое раннее детство я помню лишь туманно; события сливаются, и отделить их по годам я не могу. Помню лишь общий характер нашей семейной жизни, когда я стала подрастать.

Мы, три сестры и брат Александр, росли вместе и, как я уже писала, были погодки. Четыре малыша – мальчики были отделены от нас и комнатами, и няньками.

Старшая сестра Лиза была серьезного, необщительного характера. Я, как сейчас, вижу ее сидящей на диване, поджавши ноги, с книгой в руках, с сосредоточенным выражением лица.

– Лиза, иди играть с нами, – бывало приставала я, желая почему-то отвлечь ее от чтения.

– Погоди, мне хочется дочитать ее до конца, – скажет она.

Но конец этот длился долго, и мы начинали игру без нее. Она не интересовалась нашей детской жизнью, у нее был свой мир, свое созерцание всего, не похожее на наше детское. Книги были ее друзья, она, казалось, перечитала все, что только было доступно ее возрасту.

– Ну, что же ты сидишь, уткнувшись в свой «Космос», – с досадой кричала я.

– Оставь ее, мы и без нее обойдемся, – скажет Соня.

Различие ли характеров, или просто другие какие-либо причины породили между старшими сестрами рознь, которая чувствовалась в их постоянных отношениях; и эта рознь продолжалась всю их жизнь.

Особенно дружны были мы трое: я, Соня и брат Саша. Но я очень любила и Лизу: она всегда так бережно и нежно относилась ко мне; я умела развеселить ее, рассмешить разными глупостями, и она от души, бывало, смеялась со мной.

Соня была здоровая, румяная девочка с темно-кариими большими глазами и темной косой. Она имела очень живой характер с легким оттенком сентиментальности, которая легко переходила в грусть.

Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала ее юная жизнь и первые годы замужества. Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им. Ей все казалось, что сейчас что-нибудь помешает ему или что-нибудь другое должно прийти, чтобы счастье было полное.

Эта черта ее характера осталась у нее на всю жизнь. Она сама сознавала в себе эту черту и писала мне в одном из своих писем:

«И видна ты с этим удивительным, завидным даром находить веселье во всем и во всех; не то, что я, которая, напротив, в веселье и счастье умеет найти грустное».

Отец знал в ней эту черту характера и говорил: «Бедная Сонюшка никогда не будет вполне счастлива».

VIII. Подарок крестной

Расскажу один случай из моей детской жизни – он покажется диким в наше время.

29 октября было мое рождение, мне минуло десять лет. Накануне я все выспрашивала у Сони, что мне подарят, но Соня не говорила. Главное, меня занимал подарок моей крестной матери, Татьяны Ивановны Захарьиной, зажиточной ярославской помещицы: – она всегда дарила мне что-нибудь интересное. Ложась спать, я перебирала в уме своем, что я желала бы получить.

«Черного пуделька, только живого, или большую куклу», – решила я, и Соня мне сочувствовала.

На другое утро, надев светлое, праздничное платье, помолившись Богу и чувствуя какое-то торжественное умиление, я вошла в столовую. Меня целовали, поздравляли и дарили. Между подарками стояла большая кукла с картонной головой и раскрашенным лицом; она была почти моего роста. Это был подарок бабушки Исленьева. Я была очень счастлива: одно из моих желаний было исполнено. Я назвала ее Мими. Она впоследствии была описана в романе «Война и мир».

Теперь мне оставалось ожидать лишь приезда моей крестной. Скажу несколько слов о Т. И. Захарьиной.

Это была женщина лет 50-ти, сухая, прямая, добродушная. Ее муж, Василий Борисович, был хозяин и хлебосол. У них была воспитанница Дуняша, дочь их кучера. Ей было 16 лет, она выросла в их доме на положении не то горничной, не то барышни. Обыкновенно, когда не было гостей, Дуняша сидела в гостиной, но на скамеечке у ног своей «благодетельницы», как принято было звать Татьяну Ивановну. Дуняша была на побегушках у барыни, спала с ней в одной комнате, и на ее обязанности лежало расчесывать двух беленьких болонок Розку и Мельчика, любимцев Татьяны Ивановны. Это был дом, от которого так и несло стариной.

Крестила меня Татьяна Ивановна, вот почему.

За некоторое время до моего рождения Татьяна Ивановна сильно захворала; отец пользовал ее, сильно тревожился за нее и ездил к ней и ночью, и днем. Чувствуя опасность своего положения, Татьяна Ивановна призвала его и сказала:

– Андрей Евстафьевич, я загадала – если у вашей жены родится дочь, я выздоровлю; назовите ее Татьяной. Я буду ее крестить и буду всю жизнь заботиться о ней; если же родится сын, то мне конец. Спасите меня.

Захарьина выздоровела, крестила меня и действительно заботилась обо мне и любила меня, как дочь.

Пробило два часа; подали шоколад с домашним печеньем, все собрались у стола, а крестной все не было. Я прислушивалась к звонку с томительным ожиданием.

Но вот в столовую неожиданно вошла няня и сказала мне:

– Приехала Дуняша и дожидается в детской, а Татьяна Ивановна нездорова и быть не могут.

Я живо вскочила и побежала за няней.

Передо мной стояла Дуняша. Поздоровавшись с ней, я глядела на ее руки, надеясь увидеть свертки, но руки были пусты.

– Татьяна Ивановна, – начала Дуняша, – больны, они велели вас поздравить и поцеловать и прислали вам «живой подарок», – улыбаясь продолжала Дуняша, – я сейчас приведу его.

И Дуняша быстро ушла.

«Приведу его, – думала я, – неужели черненького щеночка? Вот будет хорошо».

Дверь отворилась, и Дуняша вошла в сопровождении девочки, одетой очень бедно, с косичками, перевязанными тряпочками вверху головы.

– Иди же, – говорила Дуняша, толкая девочку. Девочка, потупя глаза, не двигалась с места.

– Вот, – начала Дуняша, – крестная прислала вам в подарок эту девочку Федору, ей 14 лет, она пойдет вам в приданое, а пока будет служить вам.

Я молчала, пораженная неожиданностью, устремив глаза на Федору. Няня с одобрением смотрела на девочку.

– Ну, что ж, дело хорошее, мы ее всему обучим, – сказала няня, чувствуя все неприличие моего молчания.

– А вот еще деревенский гостинец от меня, – сказала Дуняша, подавая мне туго набитый холщовый мешочек, – тут двояшки орехи, нарочно отобранные для вас в Бакшееве (название имени Захарьиной), а от крестной домашняя пастила, – и она подала мне лубочный маленький коробочек.

Я поблагодарила Дуняшу за подарки, но все же неподвижно стояла на месте.

Разочарование было полное. Эта круглолицая, рябая, с косичками девочка, с потупленными глазами и плаксивым лицом не радовала меня. Я готова была заплакать вместе с ней.

– Ведите Дуняшу в столовую пить шоколад, а я напою девочку чаем, вишь, как она озябла, – сказала няня.

Я увела Дуняшу в столовую, где радушно приветствовали ее.

День рождения прошел. Я лежу в постели и не могу заснуть. Няня зажигает лампаду. Мне грустно. Плаксивая девочка не выходит у меня из головы.

– Няня, – говорю я.

– Чего не спите, уж пора, – отвечает няня, обернувшись ко мне.

– Федора моя? Моя собственная?

– Ваша, вам подарена, – отвечает просто няня.

– И я, что захочу, то и буду делать с ней. Да?

– Известно, что захотите. Да что там делать-то? Будет вам служить, комнату вашу убирать, одевать вас.

Ответ няни не удовлетворил меня. Мне хотелось, чтобы она была только моей. Чувство власти и тщеславия закралось ко мне в душу.

«Лиза и Соня не будут иметь собственной девочки. Мне ее подарили», – думала я, и это немного мирило меня с ней.

После дня моего рождения жизнь снова пошла своим обычным чередом. Уроки, распределенные по часам, прогулки в Кремлевский сад и дежурство по неделям. Дежурство состояло в том, что мы, три девочки, поочередно должны были выдавать провизию, делать чай, отцу варить кофе и проч. Сестры исполняли это добросовестно, за меня часто делали другие.

Время шло, и Федора понемногу стала привыкать и перестала плакать. Обучение ее было поручено старшей горничной Прасковье. Первое время Федора часто не понимала, что ей говорили. Например, скажут: «вымой вазу» или «убери туалет». Она, не двигаясь с места, вопросительно смотрит на приказывающего, не смея спросить, что это значит. А когда ей растолкуют, что это значит, она радостно ответит: «Ну что ж», и примется за непривычное дело.

Не раз ей приходилось бить посуду, за что доставалось от Прасковьи.

– Эк, деревенщина, толку от нее не жди, – говорила Прасковья, и однажды, входя в девичью, я увидела, как Прасковья драла ее за косу.

– Оставь ее, не смей ее трогать! Она моя! – закричала я, и Прасковья с воркотней вышла из комнаты.

Няня иногда заступалась за нее и говорила:

– И что взять-то с нее, известно, «в лясу родилась, пням молилась».

Прасковья не была зла, но была уверена, что девчонка без муштровки не вырастет. Прасковья шила на нее, так как девочку заново одели, учила ее шить, мыть и гладить. Лизе было поручено учить Федору грамоте, Соне – смотреть часы, а мне – считать.

IX. Разлука с братом

Первое наше горе было разлука с братом Сашей. Мы, все дети, его сильно любили за его мягкий характер и доброе сердце.

В течение лета мы не раз слышали спор между родителями. Речь шла о том, отдать ли Сашу в корпус или оставить еще дома. Мама настаивала, чтобы отдать. Папа был против, говоря, что он еще слишком мал. Мы, дети, слышали про корпусную жизнь, что там суровое обращение с детьми, что встают и ложатся спать под звуки барабана, что секут провинившихся и разные другие ужасы.

Обыкновенно, ложась спать после этих разговоров, я не могла заснуть и с горестью думала: «Зачем его отдают? Неужели им не жаль его? Его учит хороший учитель, он живет так мирно с нами, сестрами». И мой рассудок отказывался понять, зачем это делается. Поступок этот казался мне жестоким.

«И все это мама, – думала я, – она его не любит».

И мораль, строго внушенная нам, что «дети не смеют осуждать родителей», отлетала далеко, и злобное возмущение поднималось в моем детском сердце.

11-го августа настал этот грустный день. Сашу с утра напомадили, одели в новую куртку с белым воротником и на каждом шагу повторяли:

– Не лазай, не валяйся на земле, запачкаешь платье.

А тут, как нарочно, томительное утро длилось без конца.

Но вот пришел покровский священник с дьяконом, и все домашние собрались к молебну. Я прислушивалась к молитвам, сама молилась, как умела, и мне было приятно, что мы все собрались на что-то торжественное, и все это для милого, хорошего Саши.

После молебна мы с Соней и Сашей бегали прощаться с дворовыми людьми, которых мы все знали; прощались и с любимыми местами, и мне казалось, что для меня все кончено. Наконец, коляска была подана. Все мы вышли на крыльцо провожать Сашу.

Саша как будто храбрился и был ненатурально весел. Он подошел к маме и поцеловал ей руку. Мама обняла и перекрестила его. Потом он подошел к нам, сестрам. Мы поцеловались с ним. Здраваться и прощаться между собой не входило в наши привычки: всякая чувствительность или нежность у нас в семье, кроме отца, осмеивалась, и я простилась и поцеловалась с Сашей почти что в первый раз, так как мы никогда не расставались.

Любимый наш дядя Костя, брат матери, вез Сашу в корпус. Отец ожидал его в Москве. Дядя сидел уже в коляске.

– Ну иди же, Саша, пора ехать, ведь скоро опять вернешься, – сказал дядя Костя.

Саша прыгнул в коляску и сел возле дяди. Коляска отъехала и увезла с собой невинного, хорошего мальчика, обреченного на казенную, грубую, солдатскую жизнь, как мне казалось тогда. Мне вдруг стало жаль, что никто не высказал ему сожаления при прощании, и я громко, по-детски разревелась.

– Что за нежности! Саша опять вернется, – сказала мама, – иди займись чем-нибудь.

Обычной строгости в голосе мама не слышалось. Я взглянула на мать и по выражению ее лица поняла, что холодные слова ее были притворны. Ей самой было бы легче по-детски заплакать со мной, но теперь, как и всегда, чувство нежности и любви было где-то глубоко зарыто в ее сердце.

Дни тянулись длинные и скучные.

Мы начали учиться. Погода была холодная, и какое-то пустое, ничем не заменимое место чувствовалось в нашем детском мире.

С переездом в Москву жизнь стала приятнее.

Субботы вносили большое оживление. Приезжали кадеты – Саша и его новый знакомый, которого товарищем его нельзя было назвать: он был тремя годами старше брата.

Митрофан Андреевич Поливанов был товарищ покойного сына деда Исленьева, и дедушка нам его привез в первый раз, а потом уже Поливанов всегда приезжал к нам в отпуск, проводил у нас и праздники, и лето. Это был высокий, белокурый юноша, умный, милый, вполне порядочный. Он был сын костромских помещиков. Мы навсегда сохранили с ним хорошие отношения.

По субботам освещали залу, в столовой весело шипел самовар, на столе стояли котлеты и сладкий пирог, вечное угощение к приезду кадетов. В восемь часов раздавался звонок, и мы стремительно бросались встречать их, несмотря на крики гувернантки: «Холодные, не подходите!» За чайным столом начинались оживленные рассказы.

Саша казался мне старше в своем мундирчике, а что меня радовало больше всего, это то, что он не имел печального вида, был весел и, как мне казалось, даже приобрел известную важность и с гордостью прибавлял: «у нас в корпусе» или же рассказывал:

– Иванов второй попробовал помериться со мной силой, так я его так отдул...

Слушая Сашу, я думала: «Так, стало быть, в корпусе это так и нужно, а дома ведь драться запрещают», и я не знала, что хорошо и что дурно.

Х. Николай Николаевич Толстой и приезд Льва Николаевича

Позднее по субботам у нас бывали танцклассы. Сестры учились у барона Боде, жившего напротив нас, а для меня и брата Пети класс был устроен дома. К нам приезжали учиться танцевать трое детей Марии Николаевны Толстой, сестры Льва Николаевича. Это были мои первые друзья детства – Варя, Лиза и брат их Николай.

В нашей семье и у Марии Николаевны были гувернантки две сестры: Мария Ивановна и Сарра Ивановна – очень добрые, полные и дружные немки. Дружба их была мне в пользу. Меня часто отпускали к Толстым, я очень любила бывать у них.

Мария Николаевна проводила зиму в 1857–1858 г. в Москве, и у нее я впервые встретила брата ее Николая Николаевича. Он был небольшого роста, плечистый, с выразительными глубокими глазами. В эту зиму он только что приехал с Кавказа и носил военную форму.

Этот замечательный по своему уму и скромности человек оставил во мне лучшие впечатления моего детства. Сколько поэзии вынесла я из его импровизированных сказочек. Бывало, усядется он с ногами в угол дивана, а мы, дети, вокруг него, и начнет длинную сказку или же сочинит что-либо для представления, раздаст нам роли и сам играет с нами.

Не раз во время представления или рассказа появлялся и Лев Николаевич, расчесанный и парадный, как мне казалось тогда. Мы все бывали очень рады его приезду. Он вносил еще большее оживление, учил нас какой-либо ролей, задавал задачки, делал с нами гимнастику или заставлял петь, но обыкновенно, поглядев на часы, торопливо прощался и уезжал.

Николай Николаевич с добродушной иронией относился к великосветским выездам брата. Войдет Мария Николаевна, и он ей, улыбаясь, скажет:

– А Левочка опять надел фрак и белый галстук и пустился в свет. И как это не надоест ему?

Сам Николай Николаевич нигде не бывал; он жил на окраине Москвы, где, впрочем, всегда его отыскивали его почитатели и друзья. Между ними были Тургенев и Фет.

Здоровье Николая Николаевича, видимо, становилось плохо. Он кашлял, хирел и слабел.

До Ивана Сергеевича Тургенева, находившегося тогда в Содене, дошли слухи о тяжелом состоянии здоровья графа. Он пишет из-за границы Фету 1 июня 1860 г.: «То, что вы мне сообщили о болезни Николая Толстого, глубоко меня огорчило. Неужели этот драгоценный, милый человек должен погибнуть!.. Неужели он не решится победить свою лень и поехать за границу полечиться! Ездил же он на Кавказ в тарансах и черт знает в чем!» Кончает Тургенев письмо словами: «Если Николай Толстой не уехал, бросьтесь ему в ноги – а потом гоните в шею – за границу».

Николай Николаевич уехал весной за границу, но это не помогло ему. В сентябре 1860 г. он скончался в Гиере.

Льва Николаевича мы знали раньше. Он бывал у нас, как товарищ детства матери. Я помню его в военном мундире во время Севастопольской войны, когда он приезжал к нам в Покровское.

Это было в начале лета 1856 г. Как-то вечером подъехала к нашему крыльцу коляска. Приехали Лев Николаевич, барон В. М. Менгден и дядя Костя.

Они приехали к обеду, но с большим опозданием. Люди говели и были отпущены в церковь. Поднялась хозяйственная суета, и мать разрешила нам, девочкам, накрыть стол и подать, что осталось.

Сестры бегали с веселыми лицами, исполняя непривычное дело. Меня постоянно отстраняли, говоря: «Оставь, ты разобьешь», или «это тяжело, ты не подынешь».

Ими любовались и хвалили их.

Мне стало завидно, зачем меня не замечают и не хвалят, я стала поодаль и смотрела на гостей.

Лев Николаевич много рассказывал о войне, отец все расспрашивал его. К сожалению, я не помню содержание рассказов его. Но помню одна, как зашла речь о песне «Как 8-го сентября», и как мы все просили напеть нам её, когда встали из-за стола. Лев Николаевич отказывался.

Конечно, ему казалось дико сесть за рояль и запеть. Мы все чувствовали, что это надо было обставить как-нибудь иначе. Дядя Костя сел за рояль и наиграл ритурнель этой песни. Мотив был всем нам известен. Дядя Костя так играл, что трудно было молчать.

– Спойте с Таней, – сказал папа, – она поет и вам подтянет. Таня, подойди, пой вместе со Львом Николаевичем.

– Мотив я знаю, а слов не знаю, – сказала я.

– Ничего, мы тебя научим, – говорил дядя Костя, – становись. – Он сказал мне два первых куплета. – Я буду тебе подсказывать дальше.

– Ну, давайте петь вместе, – смеясь обратился ко мне Лев Николаевич.

Он сел возле дяди Кости и начал почти говорком. Пропев с ним два куплета, я отстала и с интересом слушала его, а Лев Николаевич с одушевлением продолжал уже один; дядя Костя своим аккомпанементом прямо подносил ему песню. Я взглянула на отца. Веселая, довольная улыбка не сходила с лица его. Да и всех нас развеселила эта песня.

– Как остроумно, лихо, ладно сложена эта песня, – говорил отец. – Я знавал этого Остен-Сакена. Так это он «акафисты читал», как этот куплет-то? – говорил отец, смеясь.

«Остен-Сакен, генерал, все акафисты читал Богородице!» – продекламировал дядя Костя. И тут стали перебирать все слова песни.

– Многое из этой песни сложено и пето солдатами, – сказал Лев Николаевич, – не я один автор ее.

Потом Лев Николаевич просил дядю Костю сыграть Шопена, что дядя и исполнил. Окончив вальс, он заиграл какой-то наивный менуэт, напомнивший Льву Николаевичу детство.

– Любовь Александровна, помните, как мы танцевали под него, а ваша Мими нас учила, – сказал Лев Николаевич, подходя к матери. – Мне кажется еще, все это так недавно было.

Тут речь зашла о «Детстве» и «Отрочестве».

– Вы, вероятно, многое узнали близкого и родного в этих произведениях? – говорил Лев Николаевич.

– Еще бы, – сказала мать. – А Машенька, сестра ваша, как живая, с черными большими глазами, наивная и плаксивая, какая она была в детстве.

– А отца нашего с его характерным подергиванием плеча как ты описал, он сам себя узнал и так смеялся, – сказал дядя Костя.

Соня внимательно слушала весь разговор. На нее «Детство» и «Отрочество» произвели большое впечатление, и она вписала в свой дневник следующие слова.

«Вернется ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели – невинная веселость и беспредельная потребность любви были единственными побуждениями в жизни?»

Лиза на обороте написала «дура». Она преследовала в Соне «сентиментальность», как она называла какое-либо высшее проявление чувства, и трунила над Соней, говоря:

– Наша фуфель (прозвище) пустилась в поэзию и нежность.

Темнело, было уже поздно. Наши гости простились и уехали в Москву, оставив нас нагруженными разными впечатлениями.

XI. Наша юность

Прошло три года. Сестры стали молодыми девушками шестнадцати и семнадцати лет. Они готовились к университетскому экзамену. Для русского языка был взят студент Василий Иванович Богданов. Он провел с нами лето в Покровском, занимался с братьями и нами, сестрами. Он, как говорится, «пришелся ко двору» и стал в доме нашем своим человеком. Он задался мыслью «развивать» нас, в особенности сестер, носил им читать Бюхнера и Фохта, восхищался романом Тургенева «Отцы и дети», читал его нам вслух и влюбился в Соню, которая хорошела с каждым днем. Сам Василий Иванович был живой и быстрый, носил очки и лохматые, густые волосы, зачесанные назад. Однажды, помогая Соне переносить что-то, он схватил ее руку и поцеловал. Соня отдернула ее, взяла носовой платок и отерла ее.

– Как вы смеете! – закричала она. Он схватился за голову и проговорил:

– Извините меня.

Соня говорила про это мама, но мать обвинила ее и сказала:

– Бери пример, как держит себя Лиза, с ней этого не случится.

– Лиза каменная, она никого не жалеет, а я его на днях пожалела, когда он рассказывал, как делали операцию его маленькому брату, – говорила Соня, – вот он и осмелился. Теперь я больше не буду жалеть его.

Для французского языка был приглашен профессор университета, старик Пако.

Сестры усердно занимались всю зиму, несмотря на коклюш, поразивший всех нас. Весной сестры держали экзамен. Соня выдержала его очень хорошо. С Лизой вышло осложнение, хотя она и была прекрасно приготовлена.

Священник Сергиевский просил ее рассказать про тайную вечерю. Казалось бы, что билет попался легкий. Лиза начала рассказывать и сбилась, когда дело дошло до «солилы» и обмакивания хлеба. Что именно она перепутала, не помню, но, главное, стала задорно спорить с священником. Он поставил ей дурной, непереходный балл. Вся в слезах она приехала домой и просила отца ехать к Сергиевскому и уладить дело. Переэкзаменовка была ей дана. Экзамены были сданы.

Им подарили часы, сшили длинные платья и позволили переменить прическу. В то время все это было строго определено. Я почувствовала, что отделилась от них, что осталась одна учащимся подростком, в коротком платье, играющая с куклой Мими. Учебные листки были сняты со стены, и лишь один мой, осиротелый, висел в классной.

Гувернантку отпустили и взяли приходящую для меня немку. Это была премилая немка фрейлен Бёзэ. Высокая, сухая, рябая, с маленькими черными тараканьими глазками, веселая и добрая. Она давала уроки мне и брату Пете и часто проводила у нас целый день. На ежедневную прогулку ходили мы, три барышни, одни, а за нами следовал ливрейный лакей. Теперь и смешно и странно вспомнить об этом, а тогда это казалось вполне естественным.

Сестры стали понемногу выезжать на танцевальные вечера. У них были свои подруги, с которыми они шептались, отгоняя меня прочь. Им шили наряды, а мне перешивали из двух платьев одно. Все это казалось мне несправедливым и обидным, и не раз, чуть не плача, я говорила себе: «Чем я виновата, что я меньшая?» Но в особенности я была огорчена следующим случаем.

Однажды мать, желая доставить удовольствие сестрам, сказала, что есть ложа в Малом театре, и что они поедут на спектакль.

– А я поеду? – спросила я.

– Нет, пьеса эта совсем не для тебя, да у тебя и уроки есть, – сказала мама.

И как я ни просила, мама стояла на своем.

Вечером, когда они уехали и дети легли спать, окончив уроки, я бродила по темной зале. В доме все было тихо, и эта тишина угнетала меня.

Мне стало и одиноко, и скучно. Я села в угол залы, и чувство жалости к самой себе умилило меня и я заплакала.

Из кабинета отца послышался звонок. Прошел камердинер папа Прокофий, много лет уже живший у нас в качестве денщика. Он, вероятно, заметил, что я плачу, так как потихоньку, на цыпочках, прошел мимо меня, как бы имея уважение к моим детским слезам.

Я слышала, как отец спросил:

– Уехали в театр?

– Уехали, но меньшая барышня сидят в зале и плачут, – сказал Прокофий.

И вдруг я услышала шаги отца. Я испугалась. Я почти никогда не плакала при нем. Он всегда был со мной ласков, никогда не бранил и не наказывал меня, но впечатление его нервного характера вообще внушало мне страх. Что может вызвать в нем гнев, а что не может, для меня всегда было неожиданностью.

Не успела я осушить слез своих, как отец в накинутом на плечи халате стоял передо мной.

– О чем ты плачешь? – спросил он меня.

– Меня не взяли в театр, и я одна, – отвечала я, всхлипывая снова.

Папа молча погладил меня по голове. Он о чем-то раздумывал. Потом прошел в кабинет и приказал Прокофию подать еще не отложенную карету, горничной Прасковье и лакею проводить меня в театр, а меня послал одеваться.

Я побежала к себе и торопила Прасковью. Федора помогала мне одеваться и радовалась за меня.

Дверь моей комнаты тихонько отворилась, и неслышными шагами вошла няня Вера Ивановна.

– Аль в театр едете? – спросила она меня.

– Да, еду, а что? – Я знала, что Прасковья уже доложила ей об этом.

– Нехорошо, что маменька-то скажут?

– Папа пустил, – коротко ответила я, не глядя ей в лицо. Няня неодобрительно покачала головой.

– И глаза-то, и лицо у вас красные от слез, еще простудитесь. Федора, подай платок барышне на голову надеть, – говорила она. – Баловник ваш папаша, – ворчала няня.

– Оставь меня, чего ты ворчишь, – говорила я с досадой. Я старалась не думать о том, что мать, может быть, рассердится на меня.

Через полчаса капельдинер отворил дверь ложи, и мама увидела меня перед собой. Занавес был поднят и шла пьеса Островского. Мама с удивлением посмотрела на меня.

– Это что такое? – строго спросила она.

– Папа меня прислал, – спокойно ответила я. В голосе моем слышалось, что если папа прислал, то значит это ничего.

Я видела недовольство матери. Она ни слова не сказала мне, но строгими глазами глядела на меня. Не пустив меня сесть вперед ложи, как обыкновенно, она посадила меня сзади, возле себя.

Освещенный театр и интересная пьеса Островского привели меня в хорошее расположение духа.

На обратном пути в карете сестры расспрашивали, каким образом я приехала, и что произошло дома. Я все рассказала. Сестры добродушно смеялись, слушая меня.

– А все Прокофий виноват, это он насплетничал папа, – говорила Лиза. Мама все время молчала, она, очевидно, не хотела говорить против отца.

Дома после чая, когда все разошлись, я прислушалась к громким голосам родителей, доносившимся до буфета, где я стояла, нарочно не идя к сестрам ложиться спать. Между роди-

телями шел горячий спор, и я знала, что это из-за меня. В детстве моем ссора отца с матерью была для меня ужаснее всего.

Внутренний голос говорил мне, что мать была права, а сердцем я была благодарна отцу.

Я легла спать, но не могла заснуть. Мне хотелось идти просить прощения у матери, но я не решалась. Хотелось с кем-нибудь поделиться своим горем, но с кем? Сестры уже спали. С няней? Но ночью к няне идти нельзя. Я прочла молитву, прибавив от себя: «Прости, Господи, мое прегрешение», перекрестилась и заснула.

XI. Наши юные увлечения

Прошел еще год. В доме не произошло никакой перемены, зато в себе я чувствовала совершающийся душевный переворот. Я росла и быстро развивалась, как бы догоняя сестер.

Как растение тянется к солнцу, так и я тянулась к их молодой жизни. Крылья молодости вырастали, и сложить их было трудно. Какой-то непреодолимой силой завоевала я себе права жизни. Учение продолжалось, но шло вяло. Экзамена при университете от меня не требовали. «К чему ей диплом? У нее большой голос, ей нужна консерватория», – говорили родители.

Строгость мама поколебалась, она как будто устала от воспитания двух старших и совершенно изменилась ко мне: стала нежна, снисходительна. Я чувствовала, что она любовалась нами, и, когда по старой памяти она делала за что-нибудь «строгие глаза» (как мы назвали это), я бросалась к ней на шею и кричала: «Мама делает строгие глаза и не может». Я целовала ее, чего прежде не смела делать, и мне казалось в такие минуты, что я не могу ни огорчить ее чем-либо, ни послушаться ее, так сильна была моя любовь к ней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.